11. Пушкин А.С. в воспоминаниях современников. — М., 1874. — Т.1.
12. Майков Л. А.С.Пушкин: Библиографические материалы и историко-литературные очерки. — М., 1899.
13. Орлов М.Ф. Капитуляция Парижа. — М., 1963.
14. Трубецкой Б.А. Пушкин в Молдавии. — Кишинев, 1990.
15. Горчаков В.П. Выдержки из дневника об А.С.Пушкине //А.С.Пушкин в воспоминаниях современников. — М., 1874. — Т.1.
16. Анненков П.В. Материалы для биографии А.С.Пушкина. — М, 1984.
17. Библиотека Великих Писателей /Под ред. С.А.Венгерова. — СПб., 1911. — Т.5.
18. Пушкин А.С. Письма. — М., 1926. — Т.2.
19. Белинский В.Г. Собрание сочинений. — М., 1979. — Т.4.

ГРАНИЦЫ ЛИЧНОСТИ В БИОГРАФИЧЕСКОМ МИФЕ ЗОЛОТОГО И СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

М.Н.Виролайнен

(*кандидат филологических, старший научный сотрудник, Институт русской литературы РАН (Пушкинский Дом), Санкт-Петербург, Россия*)

Стаття присвячена вивченню меж між словом і особистісним буттям у письменників золотого та срібного віку.

The article is devoted to the study of the border line between word and personal existance in the works of writers of the Gold and Silver Ages.

Проблема самоидентификации личности весьма остро переживалась на протяжении всего XX века. Вот характерный вопрос, поставленный современным культурологом, в статье, посвященной проблемам персонологии будущего: «Если начать раскрывать матрешек идентичности, доставать их одну за другой, если срывать один за другим листья с кочана личности, то что же останется в конце?». Не менее выразителен и ответ на поставленный вопрос: человек «всегда больше суммы своих качеств и свойств. И именно этот остаток, этот "человек без свойств" и есть главное в личности» (1, 311). Итак, моя внешность, мои мысли, мои настроения, мое социальное Я, мое физическое и психологическое Я – все это еще не есть Я. Только по вычитании всех моих качеств и самоопределений я могу добраться до того своего Я, которое и окажется собственно мной, и это будет «человек без свойств». Но способны ли мы осознать себя вне всяких свойств и определений? Близкую, но несколько иначе разернутую задачу ставит перед современным человеком А.Пятигорский (см., например, его книгу «Философия одного переулка»). По его мнению, осознавая себя, мы всегда рисуем в своем воображении себя в некий момент прошлого, хотя бы и совсем недавнего, – и таким образом, осознаем себя, уже не существующего. Главная же задача самосознания – уловить мгновение чистого настоящего, освободившись от всех определений, относящихся к прошлому. И первый, и второй вариант постановки вопроса предполагает, как видим, освобождение от определений, то есть от любых словесных оболочек, с помощью которых личность, как правило, идентифицирует самое себя. Самосознание трактуется как чисто экзистенциальный акт, не опирающийся ни на какие слова и понятия. Для европейского человека, не владеющего восточными медитативными практиками, результатом такого опыта самосознания будет, как кажется, безнадежное ускользание собственного Я, его растворение в мире или в потоке собственных ощущений. Иными словами, поиск самоидентичности, осуществляемый на таких путях, неизбежно должен привести к полной утрате самоидентичности в том смысле, в каком она понималась на предыдущих этапах культурного развития, когда самоидентичность была неразрывно

© М.Н.Виролайнен, 2005

связана с *самоописанием*.

Итак, самоописание трактуется во второй половине XX века как препона на пути к самосознанию и самоидентификации. Разумеется, такая постановка вопроса возникла не вдруг, она имеет свою предысторию. Отношения личного Я и слова о себе претерпели за последние два века несколько качественных трансформаций, более всего очевидных при сопоставлении культуры золотого и серебряного века.

Для культуры золотого века слово, и прежде всего поэтическое слово – субстанция дистанцированная и от общеязыкового поля, и от непосредственного бытия личности. Поэтическое слово формирует свою сферу значений и смыслов, и эта сфера имеет автономное бытие. Более того, она имеет собственный онтологический статус.

Б.А.Успенский ввел в научный оборот понятие диглоссии, которую он определяет как «такой способ сосуществования двух языковых систем в рамках одного языкового коллектива, когда функции этих двух систем находятся в дополнительном распределении» (2, 26), то есть когда они не эквивалентны друг другу и не подлежат взаимному переводу. Так, в Московской Руси церковнославянский и русский язык находятся в отношениях диглоссии: церковнославянский, в отличие от разговорного русского, обладает сакральным статусом. Поэтический язык золотого века сакральным статусом не обладает. Но и общеязыковым значениям он вовсе не эквивалентен. Поэтическая лень, поэтическое уединение, поэтический пир совершенно не эквивалентны бытовой пирушке, бытовой лени или бытовому уединению. Вполне очевидно, что самоописание, данное на таком языке, было также дистанцировано от непосредственного бытия личности. Совпадения между лирическим субъектом и реальной биографической личностью не предполагалось. Когда Жуковский призывал Батюшкова: *Отвергни сладострастья Погибельны мечты...* (3, 198), это, разумеется, не было заботой о моральном облике друга. Как писал В.Э.Вацуро, Жуковский «спорил не с Батюшковым, а с представленным им типом лирического субъекта» (4, 109), он высказывался против чувственно-гедонистического начала поэзии. Эротизм Батюшкова имел чисто литературный характер.

Поэтические автопортреты Пушкина также почти всегда дистанцированы от его реальной личности. Он мог, например, в один и тот же день, в одном конверте отправить два письма – Дельвигу и Гнедичу – приложив к каждому из писем по стихотворному посланию, в которых предстает в двух образах, между которыми едва улавливаются черты сходства. Кроме того, стихотворный образ из послания Дельвигу открыто противоречит прозаической части письма. Поэзия не только отступает от фактов, но и намеренно компрометирует их. В стихах Пушкин уведомляет своего корреспондента о собственном творческом бесплодии: *От воздержанья муза чахнет* – и в ту же минуту в письме сообщает ему: *Кончил я новую поэму, Кавказский Пленник <...> у меня в голове бродят еще поэмы* (5, 25, 26).
Серьезным исключением здесь был Жуковский, теснее других связанный с культурой романтизма и не случайно в послании «К Батюшкову» заявлявший, что *быть таким желает, // Каким в своих стихах Себя изображает* (3, 203).

Для Пушкина же подобные отождествления были неприемлемы, для него существовал экзистенциальный суверинетет личности и суверенитет поэтического слова. Определением «условность» такая позиция отнюдь не исчерпывалась, поскольку предполагала полноту ответственности и за личное бытие, и за слово. Существенным было то, что эти измерения не сливались, не отождествлялись, они отстояли друг от друга и каждое из них имело свою собственную значимость.

Момент, когда они начали отождествляться, совпадает с финалом золотого века. Когда Денис Давыдов создавал автобиографический образ поэта-гусара, уверяя читателей, что его стихи писаны на биваках, посреди сражений, он, несомненно, стилизовал свой автопортрет, и ничуть не смущался этим, как не смущалось и его литературное окружение. Когда принадлежащие уже следующей культурной эпохе любомудры будут создавать литературную репутацию Веневитинова, облик поэта-философа будет строиться совсем иначе, чем облик поэта-гусара. Поэт-философ – уже ни в коем случае не литературная маска,

не ролевое поведение. Репутация будет претендовать на полное тождество реальной личности Веневитинова.

К адекватности слова и личности будет последвательно идти Гоголь. Владимир Паперно на римской конференции, посвященной 200-летию писателя, справделиво заметил, что мы напрасно считаем, будто поздний Гоголь не занимался творчеством. Огромная переписка Гоголя – это и есть его позднее творчество. И оно отнюдь не случайно приняло именно такие черты. Ранний Гоголь, Гоголь золотого века, начинал с маски Рудого Панька. Но уже в «Арабесках» он попытался предстать перед читателем иначе: как писатель, историк, географ, эстетик, педагог, практик и теоретик – иными словами, как универсальная личность. Таким рисовал себя Гоголь, составляя свой третий сборник, и это уже была претензия на то, чтобы, отбросив маску, обнаружить себя перед публикой во всей полноте своих личных достоинств. Как кажется, претензия эта была не очень замечена или, во всяком случае, не слишком оценена. Гоголь вернулся на чисто писательские позиции, а затем отказался и от них, целиком излившись в эпистолярный жанр, в котором не предполагается никакой дистанции между личностью пишущего и его словом. И именно в этом жанре, к которому отнюдь не случайно относится и его поздняя книга, Гоголь самым деятельным образом принялся выстраивать свой автобиографический миф. В этом самоописании, осуществлявшемся уже за пределами золотого века, слово должно было совпадать с образом личного бытия и служить его подтверждением.

Понятие золотого века не имеет, конечно, четких хронологических границ. Особенности относящейся к нему литературы также четко не сформулированы. Я указываю сейчас лишь на одну из таких особенностей, и ею, на мой взгляд, является наличие непременной дистанции между словом и бытием, а в рамках автобиографического литературного самоописания – наличие дистанции между литературным автопортретом и непосредственным бытием личности. По этому признаку Лермонтов, например, уже не вполне относится к поэтам золотого века. Показательно его раннее творчество. Ученичество Лермонтова, выражающееся в обширнейших заимствованиях из чужой поэзии, неизменно связано с поисками в чужом слове самого себя, отражений собственных психологических комплексов. И этот же психологический комплекс будет затем во множестве вариантов представлен в его зрелой лирике, в прозе и драматургии. Внутреннее тождество слова и личного бытия составит основной вектор лермонтовского творчества.

Я не хочу сказать, что литературный образ писателя и его бытовой образ за пределами золотого века обязательно совпадают. Но их несовпадение начинает трактоваться как некая ущербность жизни, как неосуществленность чего-то главнейшего. Так, литературный образ Некрасова – печальника за судьбы народные – явно не совпадает с жизненным обликом барина, удачливо разбогатевшего предпринимателя, столичного жителя, развлекающегося заграничными поездками, клубами, картами. И это несовпадение , безусловно, тревожит его, переживается как некая вина, как неисполненность заявленных обещаний, как то, что он был рыцарем всего лишь на час. И та же тревога заставляет Толстого в 1891 году отказаться от юридического права на владение своим родовым имением и от права литературной собственности на все произведения, написанные после 1881 г.

Тенденции к преодолению разрыва между словом и бытием развивались на протяжении всего XIX столетия, но только серебряный век стал моментом, когда они осуществились во всей мыслимой полноте. Теперь воплощаемое в слове стало подлежать полнокровному воплощению в непосредственном бытии.

Вот небольшая, но выразительная деталь, позволяющая оценить разницу между золотым и серебряным веком. В дружеских посланиях 1810-х годов развивается мотив пира-симпозия, чрезвычайно значимый и для того целого, в которое собирается совокупность текстов, относящихся к данному жанру: обмен посланиями становится чем-то вроде обмена репликами на пиру поэтов, который ориентирован на знаменитый платоновский диалог. Симпозий, развернутый в рамках дружеских посланий, имеет собственную поэтику, и это поэтика дистанции. Она строится на взаимодействии трех элементов, трех ипостасей пира. В

первой своей ипостаси пир есть культурный топос, культурный эталон, через который тематика посланий приобщается к высокой традиции древних симпозиев. Другая ипостась пира принадлежит биографической реальности, непосредственному бытию: те, кто вступал в поэтическое собеседование, в быту отнюдь не чуждались веселых пирушек, описание возлияний не было для них художественной абстракцией. Третью ипостась составляет собственно поэтическое слово, которое наполняется смыслом через соотнесенность с культурным архетипом и бытовым прототипом – через принципиально дистанцированную соотнесенность. В послания входят приметы житейской реальности, но отсылки к ней – лишь легкие соприкосновения; слово не поглощает быт, быт не стилизует поэзию. Они всегда помнят друг друга, но всегда суверенны. И тот же суверенитет сохраняется между поэтическим словом и его культурным прототипом. Ни одно послание не стремится полнокровно описать симпозий, реализовать его модель в собственной художественной ткани. «Пир» Платона остается эталонной реальностью, удаленной от поэтического слова. И такая же дистанция соблюдается между словом и бытом.

Принцип дистанцирования оказывается решительно упраздненным в начале XX века, когда Вячеслав Иванов затевает пиры-симпозии на своей Башне. Теперь культурный прототип получает полнокровное воплощение в реальной жизни, пир как жанр и пир как жизнь, уподобляясь друг другу, сливаются в общей зоне. И это – не исключение, но характернейшая особенность серебряного века.

Для «аргонавтов», вдохновляемых Андреем Белым, цель художественного творчества состояла прежде всего в том, чтобы вылиться в «жизнетворчество», в пересоздание себя и мира (см.: 6, 137–170). Поэтическое настроение – личное, субъективное или разделенное с единомышленниками – с готовностью отождествляли с состоянием мира; московским зорям и закатам приписывали сакральный смысл «аргонавтического» солнечного мифа, в прекрасных москвичках безоглядно почитали Софию Премудрость и Лучесветную подругу. Несоответствие предзаданной партии вызывало негодование (так, к примеру, негодовал Андрей Белый, когда Нина Петровская нарушала предначертанные им законы «мистериального» сюжета).

Реального проживания требовали не только создаваемые мифы или сюжеты. Само поэтическое слово мыслилось как экзистенциально тождественное личности поэта. Вот несколько цитат из писем Андрея Белого к Блоку: *Я живу в четырех стенах <...>. Сижу бесцельно у окна. И потом бесцельно кружусь по пустым комнатам, устраивая круги* (7, 214). Перед нами – вполне правдивая бытовая зарисовка, Андрей Белый описывает свое бытовое занятие, а состоит оно в том, что он, сидя в собственной квартире, становится экзистенциальным воплощением одного из ключевых поэтических символов – символа круга. В другом письме, написанном, заметим, в разгар лета, Андрей Белый сообщает о личном отождествлении с другим, не менее важным символом – снегом: *Кротко, безболезненно покрываю пространства, завиваюсь вьюгой по зимам, завиваюсь вьюжным ласточкиным визгом в голубых пространствах. Кроткая беспредметность – моя стихия: таков снег. <...> О, если б мне всегда быть снегом!* (7, 224–225). *Вьюжный ласточкин визг*, который, конечно, является тютчевской реминисценцией, в то же время служит штрихом, подчеркивающим связь с жизненной конкретикой: снежное самоощущение сочетается с летними реалиями, которые не должны быть изъяты из общей картины, поскольку картина эта, как и предыдущая, абсолютно правдива.

Казалось бы, такое наконец обретенное полнокровное воплощение поэтического слова в реальной биографической, психофизиологической личности поэта должно дать полноту личностного самоощущения. Казалось бы, что, в отличие от ситуации золотого века, век серебряный наконец собирает личность, обеспечивает ее единство. Между тем происходит нечто прямо противоположное. Соединяя в самой себе конечное с бесконечным, личность, с одной стороны, растворяется в мире, теряет свои границы, перестает различать свое внешнее и свое внутреннее. С другой стороны, она оказывается внутренне раздробленной, обнаруживает в себе множество «я», не совпадающих друг с другом и не соединяющихся в

цельное самоощущение.

В 1905 году Андрей Белый послал Блоку стихотворный диптих под заглавием «Раненый». Герой обоих стихотворений один и тот же. Это калека, и в первочасти диптиха он признается, что чувствует себя пауком:

Я стал похож на паука.
Ползу – влекутся ноги-плети.
Там, под кустом, издалека
За мной следят в испуге дети.

Как ночь, глаза. Как воск, чело.
На сердце яд отравы острой.
Так глухо стукает в дупло
Над головою дятел пестрый (7, 214-215).

Во второй части диптиха перед нами тот же раненый калека, но паучья тема временно отступает, внутренее самоощущение героя другое – рядом с ним его возлюбленная, она ухаживает за ним, он ловит ее взор, любуется ее руками, ее локонами. Но вдруг она поднимает глаза и пугается. В ветвях над собой она видит паука:

Как ночь, глаза. Как воск, чело.
На сердце яд отравы острой.
Так глухо стукает в дупло
Над головою дятел пестрый (7, 216).

Слово в слово повторяется строфа, которая в первом стихотворении была метафорой внутреннего мира героя, но теперь она описывает то, что предъявлено ему извне. Одна и та же паучья реальность, воплощенная в одних и тех же словах предстает как «мое внутренее» – и как внешнее, чуждое и даже враждебное. Внешнее и внутреннее сообщается по принципу ленты Мебиуса или бутылки Клейна – но где в этом случае граница моей личности? Внешний мир – ни физический, ни метафизический – более не кладет ей предела. Личность оказывается слитой с собственным словом и с воплощаемым в слове миром.

Мир этот многообразен. «Я» оказывается тождественным и снегу, и кругу, и заре, и пауку. Теряя внешние контуры, «Я» начинает дробиться изнутри: я – снег, я – круг, я – паук... Линии внутренних водоразделов могут проводиться любыми другими способами: я – мое тело, я – мои мысли, я – мое прошлое, я – мое настоящее... И так далее – до бесконечности. В мемуарной книге «Начало века» Белый сравнивает личность с многоквартирным домом, и в каждой квартире – свой жилец. Теряя внешние границы, личность оказывается рассечена множеством границ внутренних. Между тем главное свойство личности – ее абсолютная уникальность. «Я» не может быть множественным. И тогда возникает проблема собирания личности – проблема, неведомая золотому веку, но активно занимавшая в начале XX века самых разных мыслителей – от Карсавина до Гурджиева. Судя по высказываниям, приведенным в начале доклада, вплоть до конца XX века проблема эта остается нерешенной.

Итак, перед нами в достаточной мере парадоксальный итог. Личность, сумевшая осуществить экзистенциальное совпадение с собственным словом и, в частности, с данным в слове собственным образом, в конечном итоге теряет себя.

1. Тульчинский Г.Л. Постчеловеческая персонология //Проективный философский словарь: Новые термины и понятия.— СПб., 2003.
2. Успенский Б.А. Языковая ситуация и языковое сознание в Московской Руси: восприятие церковнославянского и русского языка //Успенский Б.А. Избранные труды. — М., 1994. — Т. 2.
3. Жуковский В.А. Полн. собр. соч. и писем.— М., 1999. — Т. 1.
4. Вацуро В.Э. Лирика пушкинской поры: «Элегическая школа». — СПб., 1994.
5. Пушкин А.С. Полн. собр. соч. — М.; Л., 1937-1949. — Т. 13.
6. Лавров А.В. Мифотворчество «аргонавтов» //Миф – фольклор – литература. — Л., 1978.
7. Андрей Белый и Александр Блок. Переписка. — М., 2001.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету

Збірник наукових праць

Спецвипуск

18

Ізмаїл - 2005